

# ДНЕВНИКИ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА: КЛЮЧИ К ТВОРЧЕСТВУ

© 2015

*Г.Н. Боева*

Маргинальные, или “пограничные” тексты, балансирующие между художественным и нехудожественным, да и вообще эго-литература (дневники, мемуары, эпистолярный) — объект интереса на перекрестке самых разных областей гуманитарного знания\*. Дневник писателя, прежде воспринимаемый как материал для информации историко-литературного характера, биографии автора и комментариев к его произведениям и “творческим замыслам”, стал читаться в иных модусах: как творческая лаборатория художника, как проявление жизнетворчества (у В.Я. Брюсова и постсимволистов), как художественное произведение (у З.Н. Гиппиус) [5, с. 204–205]. В дневниках Л.Н. Андреева обнаруживается еще одна стратегия — психотерапевтическая\*\*, или сублимационная (последний термин употреблен не в узком, фрейдистском значении, а в расширительном — как трансформация в социально приемлемых целях травмирующих желаний). Она проявилась еще в ранних дневниках будущего писателя, которые парадоксальным образом напоминают технологии и практики, предлагаемые современной прикладной психологией, — например, ведение “структурированного дневника” по методу американского психолога А. Прогоффа [см., напр.: 12].

Именно с такой психотерапией встречаешься в дневниках Леонида Андреева: писатель прибегает к творчеству как к механизму психологической подстройки, причем именно в ситуациях глубоко личных, интимных (как правило, связанных с неразделенной любовью, потерей возлюбленной, неудачами в личной сфере жизни). С помощью термина “катарсис” постараемся описать природу дневниковых записей Андреева и механизм взаимодействия автора со своими записями.

Уже в античной литературе среди разнообразных толкований катарсиса: психологического, религиозно-экстатического, этического, эстетического, — встречается и медицинское, однако вновь актуальным, как в теоретическом, так и прикладном аспектах, оно станет только в XIX веке, когда венские врачи Й. Бройер и З. Фрейд открывают новый метод психотерапии — катарсический (“Исследования истерии”, 1895). Катарсическая терапия не была привязана ни к какому-либо особым аффектам (страх, сострадание), ни к трагедии как таковой — она была обращена ко всему разнообразию жизненных



**АРХИВ**



**Боева Галина Николаевна** — кандидат филологических наук, заведующая кафедрой культурологии и общегуманитарных дисциплин Невского института языка и культуры (Санкт-Петербург). В журнале “Человек” публикуется впервые. E-mail: g\_boeva@rambler.ru

\* Отметим периодическую конференцию “Маргиналии 2008: периферия культуры и границы текста” (Юрьев-Польский, 2008; Каргополь, 2010, Касимов, 2012); международный проект и конференции в его рамках “Эго-документ и литература” (Варшава, 2006–2011).

\*\* М. Михеев предлагает для наименования сходной функции дневника термин “релаксационно-терапевтическая” [см.: 14].

177



Л.Н. Андреев.  
Фотография.  
Москва, 1899  
[Русский архив  
в Лидсе, Велико-  
британия (РАЛ.  
MS.606/G.1.vii)]

эмоций человека и к искусству вообще. Она “вплетала понятие катарсиса непосредственно в процесс совершающейся личной жизни” [4]. Впрочем, и в дальнейших исследованиях Фрейда, уже в русле психоанализа, ощутимо представление о творчестве как о самоосвобождении, усмирении личных неудовлетворенных желаний. Искусство, по Фрейду, — как бы промежуточная область между миром фантазии, в котором исполняются все мечты и желания, и порождающей их жизненной реальностью, где они неисполнимы [17].

Дневник в жизни Леонида Андреева играет роль своего рода “заместителя” творчества, появляясь в юношеские годы и в начале писательского пути, а затем в последние годы, отмеченные спадом творческой и издательской активности. Однако и в мотивации, и в самом контексте ранних и поздних дневников обнаруживается существенная разница. Главный импульс ведения Андреевым ранних записей (1897–1901) — компенсационный механизм, позволяющий осмыслить и “сгладить” неудачи

на любовном фронте. Как честно предупреждает сам автор, “в отношении содержания Дневник очень однообразен”; “главная его тема — любовь во всех возможных видах и формах” [3, с. 41]. И в самом деле, основные “объекты” записей — четыре героини, второстепенные “объекты” — еще десять или больше особ, а в целом весь дневниковый дискурс — летопись событий личной жизни, своеобразная интимная “психохроника” [10, с. 5]. “Материальная” сторона бытия принципиально остается “за бортом”, лишь периферийно прорываясь на страницы дневника: “Не люблю я в дневнике говорить о гроше и всяческой прозе жизни, — и всегда оставляю ее за кулисами — догадывайся, читатель, о тех веревках и трапах, которые заставляют героя то взлетать к небу, то проваливаться в тартары” [3, с. 109].

С началом профессиональной литературской деятельности (добавим: и женитьбой на одной из героинь дневника — А.М. Велигорской) и появлением настоящего читателя потребность в дневниках у Андреева отпадает. И вновь писатель начинает вести записи, как уже говорилось, только в последние годы жизни в своей вынужденной эмиграции в Финляндии [2]. Поздний дневник (1914–1919) — скорее не психохроника, а психомемуары, редкий по беспощадности самоанализа и оценок эго-документ, своего рода постскрипtum творчества — стоит в одном ряду с такими “кризисными”, запечатлевшими слом эпох дневниками той поры, как “Окаенные дни” (1918–1920) И.А. Бунина.

Обратимся к раннему дневнику Л.Н. Андреева. Если пытаться определить функционально-семантический тип высказывания, реализованный в дневнике, то его можно расценить как своеобразный психологический аутотренинг. Плюс конструирование собственной идентичности, весьма смутной у выпускника университета, пока не выбравшего дело жизни и переживающего тяжелый период само-

определения. В акте письма, в диалоге с самим собой усматриваются и реализация “техники себя”, о которой пишет М. Фуко [18], и “технология скриптизации” (К.С. Пигров) [15]. В то же время частное пространство дневника на всем протяжении и на разных уровнях находится в напряженном диалоге с публичным: с доминантными идеологическими дискурсами (“параллельная” реальность университетского, а потом судебного и журналистского миров; внутренняя полемика с семейным укладом Велигорских, воспринимаемым Андреевым как самодовольно-буржуазный); литературной романной моделью (об этом пойдет речь ниже); репрезентациями “ты” (дневник периодически дается избранным “объектам” для чтения). Самоидентификация именно предполагает и центростремительное, вовнутрь, и центробежное, вовне, движение.

Не только *автор ведет* дневник, но и *дневник ведет* автора. Можно согласиться с А. Зализняк, утверждающей, что идеальный читатель дневника есть его автор [9]. Андреевский дневник — явление такого рода: на протяжении всей жизни автор постоянно обращается к своему дневнику, в результате чего дневниковая ткань пронизана “приписками” и “постприписками” — автокомментариями задним числом. Устремленный в будущее, текст дневника болезненно темпорален, и в хронотоп его периодически врываются позднейшие события и пояснения к событиям прошедшим. Ощущая свой дневник как нарратив и чувствуя потребность логически завершить его, Андреев лаконично перечисляет в финале события нескольких лет, с 1901 по 1907 год, уже после смерти жены (“...женится на Шурочке... родился сын... бросил пить... Шурочка умерла... стал пить... несчастлив” [3, с. 218]).

На протяжении всего дневника 1897–1901 годов Леонид Андреев апеллирует к читателю (образец — приведенная выше цитата о пренебрежении “прозой жизни”). Из наиболее вероятных претендентов на роль читателя дневника автор называет своих возлюбленных, друзей и знакомых (и записи действительно предоставляются им для чтения), упоминает и о непрощенных читателях (чаще всего мать), но Главного Читателя он пока определить затрудняется и откладывает на “будущее” “принципиальное решение вопроса”.

Это “будущее” настало скорее, чем ожидал автор: уже в 1898 году он становится восходящей литературной звездой, затем писателем с громким именем — и вместе с признанием, успехом и тиражами получает не просто читателя, а огромную всероссийскую аудиторию. Однако и в эти годы успеха свою кровную связь с читателем Андреев продолжает ощущать как экзистенциальную писательскую проблему и его дневники и письма полны рассуждений о взаимоотношениях с читателем. Можно сказать, что динамика данных взаимоотношений, своего рода “роман с читателем”, определяет самочувствие автора.



Л.Н. Андреев — студент Московского университета. Фотография Р.Ф. Бродовского. Москва, 1984 (РГАЛИ. Ф. 19. Оп. 1. Ед. хр. 3)



Л.Н. Андреев  
с женой  
А.М. Андреевой.  
Фотография  
К.К. Буллы. Сделана  
у И.Е. Репина  
в “Пенатах” 27 мая  
1905 года (Архив  
А.М. Горького  
при ИМЛИ РАН,  
Москва)

Когда же читательская аудитория уменьшается, а пик популярности остается позади, вновь появляется потребность в аутотренинге-дневнике, на первых же страницах которого Андреев рефлексировал на тему “я и читатель”:  
“Думать еще можно, но писать, тратить труд и напряжение, искать слова для себя — это так же скучно, как самому накапывать себе ежедневно 20 капель лекарства. Меня всегда удивляло, как мог Толстой до конца своей жизни так любить себя, чтобы вести дневник и отмечать мелочи души” [2, с. 26].

Похоже, автор “финского дневника” ощущает эрзац-природу своих записей и, сомневаясь в возможности выразить себя “на общем языке” (о “моем” можно говорить только на особом шифре), замечает: “В написанном мною доселе дневника еще нет и в помине. Будет ли — не знаю” [там же, с. 95]. Последняя запись примечательна. Во-первых, из нее явствует, что сам пишущий осознает природу своих поздних записей отнюдь не как дневниковую — и тогда, возможно, настоящим дневником были ранние записи. Во-вторых, важно недоверие автора

к традиционному способу выражения своего *эго*.

Если воспользоваться терминологией, предложенной Т.В. Радзиевской, то все дневниковые записи Л.Н. Андреева можно охарактеризовать как дескриптивные, то есть подчеркнута коммуникативные, максимально артикулированные — в отличие от дневников топиальных, зашифрованных, хранящих в себе следы внутренней речи автора и понятных, по большей части, только ему самому [16, с. 221–233].

Что касается ранних записей, то в них автор, похоже, реализует привычные компетенции читателя беллетристики своего времени. Согласно Радзиевской, дескриптивный стиль значительно более индивидуален, чем топиальный, и зависит от речевых навыков, вкусов его автора и коммуникативного опыта. И если топиальный стиль связан с интенцией зафиксировать событийное наполнение дня, то дескриптивный — формируется, когда автор заинтересован [там же, с. 231] исключительно в самореализации [там же, с. 230]. Родзянская (ссылаясь на А. Жирара) пишет, что именно в “психологических” случаях ведения дневника реализуется акт выговаривания, в ходе которого субъект освобождается от своего аффективного багажа. Это своего рода автокоммуникация, или особое проявление эмотивной коммуникации [там же, с. 225]. Все сказанное в полной мере применимо к ранним дневникам Андреева.

Обращает на себя внимание многословная традиционность и даже некоторая старомодность стиля ранних дневниковых записей Андрее-

ва. В этом смысле постоянную апелляцию к читателю можно расценить как моделирование традиционной романной ситуации с участием “читателя” и “героя” (он же исповедующийся “автор”). Похоже, здесь обнаруживает себя та игровая стратегия, что выросла из практики сложившейся к тому времени публичности дневникового жанра [6]. Однако в “случае Андреева” факт нацеленности на читателя особенно значим, поскольку выдает и бессознательную установку автора на создание художественно-эстетического эффекта, и дремлющие писательские амбиции, уже заявляющие о себе в реальности (начинают выходить в свет его первые рассказы). Согласимся также и с замечанием о том, что «романное “остранение” в дневнике имело во многом катарсическую функцию» [10, с. 10].

Кстати, свидетельством игровой поэтики можно счесть и такие “эксперименты” в одном из ранних, еще гимназических дневников Андреева, как графические изображения воздействия выпитой водки на качество текста: читателю объясняется, что каждая новая рюмка, выпитая автором, будет отмечаться красной строкой [1]. Приведенные наблюдения над стилем андреевских дневников — аргументы в пользу дискурсивной природы дневникового текста.

Как справедливо пишет в статье-предисловии к ранним дневникам Л.Н. Андреева (1890-е годы) составитель книги и ее комментатор М.В. Козьменко, они стали своего рода протоформой поэтики и аккумулятором творческой активности будущего писателя. Справедливо и замечание о том, что “дневник-роман Андреева, являясь источником сюжетов и образов для раннего творчества писателя, одновременно существенно воздействовал на формирование поэтики писателя” [10, с. 34]. В числе произведений, генетически связанных с дневниками, исследователь упоминает “Красный смех” (1905) и “Мои записки” (1908), однако добавим, что взвинченность, исповедальность, предельный субъективизм андреевской прозы (и не только ранней) также восходят к дневниковой стилистике. Можно сказать, что ранние дневники писателя — та самая *шинель*, из которой вышло все его творчество. Правда, для Андреева курс на автобиографизацию литературного пространства не стал, в отличие от многих его современников, кардинальной литературной стратегией и основой для мифотворчества, но все же оказал заметное влияние и на сюжетику, и на поэтику.

В качестве аргумента приведем один из пассажей дневника (1897), напоминающий “дайджест” излюбленных идей и тем Леонида Андреева: жестокой жизни, рока, бессмысленности обращений к Богу, социальной несправедливости, но и несостоятельности социального протеста, неискоренимости надежды. Поражает частотность употребления “леонидандреевских” концептов в совсем небольшом фрагменте:

“Таков смысл этой жизни. Как беспощадно жестока, как насмешливо бессмысленна, иронически нелепа, бесконечно гнусна эта милая жизнь. <...>



А.М. Велигорская.  
Фотография.  
Москва, 1900  
[Русский архив  
в Лидсе, Велико-  
британия (РАЛ.  
MS.606/G.1.vii.f.-g)]

XXXXXXXXXX

**АРХИВ**

XXXXXXXXXX

РАС. MS. 606/E.8.ii

идущая, друзья, товарищи, и не забыть. Не все ли  
 можно? сособой? друзей, когда хоро и речивый  
 пишет с бумагой, а онегодный и аргумент  
 доброты ит. француз - и это Кромель стрелы.  
 (Вспомнил один, доброты француз следуй:  
 и был издан? у Франсуа-Веня и онегодный витеб  
 и Франсуа босман влиней комар, когда был  
 какой то француз, красивый и подурило  
 онегодный. Пошлим вк и сгоду и поглупах  
 перед сго? недоурило ит. акароний и  
 ии акароний, а онг уонивов и уснеговаван  
 мени? и в внолеть, мучака бл и бонидер,  
 мит. онегодный К. Л. - воурао, едгасфкени  
 ит мени вавснудит.

Мок и ралиона мезе Гого, рефествени  
 мит и комбани и етк. огуван в мение.  
 Женит и блас ит. мит сего. ироу ерду?  
 и франши ба Гого, ии и ии блас. А  
 Гемел и аафонцев в Гом колу рени;  
 когда вадур б. мени что ит. Вадка  
 ии смерь смерь ии вадка. Доче  
 сособой? ридно - ии сгоду иодемда ии  
 о чаеио.

И мени Круснудит и о. о. о. Гемение в

Л. Н. Андреев.  
 Дневниковая запись  
 от 8 августа  
 1898 года. Первая  
 из вырванных  
 для передачи  
 А. М. Велигорской  
 страниц [Русский  
 архив в Лидсе,  
 Великобритания  
 (РА. MS. 606/E. 8. ii)]

У тебя вырвут сердце, с улыбкой отнимут жизнь, медленно сожгут на тихом огне, — и тебя же оплюют, неудачника, дурака, попавшего под колесо жизни, вместо того, чтобы беспечно кататься в ее экипаже. <...>

А Бог? Посмотри, сколько церквей, сколько икон, сколько попов. Подавай прошение в любую с приложением двухкопеечной свечки — там разберут.

Возмущаются у нас деспотизмом, с криком указывают на жертв бесправия, — дурачье! Вот кто деспот, вот кто наш враг, наш убийца — жизнь проклятая. Как обессилен, как жалок человек!

...Смушает меня безумная надежда. <...> Вопреки всему, — я верю, со слезами верю в невозможное” [3, с. 56–57] (курсив мой. — Г.Б.).

Разумеется, всякое творчество по самой своей природе нацелено на достижение катарсиса, но в писательской практике Андреева обна-

182





И если прежде я думал, что существует только смерть, то теперь начинаю догадываться, что есть только жизнь” [там же, с. 303–304].

Неудивительно, что по своей стилистике рассказ “Проклятие зверя”, предельно субъективный и личностный, наиболее близок к экспрессионистской прозе. Подобное “медитирование”, духовное обнажение, “проговаривание” личного в “письме” (в бартовском значении) — не единственный случай в творчестве Андреева. В течение очень тяжелого для писателя 1907 года он вновь прибегает к “терапии” словом — об этом свидетельствуют опубликованные Р. Дэвисом и М. Козьменко два ранее неизвестных этюда, по жанру напоминающие лирические медитации или письма, — “День первый” и “Долг и любовь”. В них, по словам издателей, “моменты экзистенциальной обнаженности подчас заслоняют... меру художественности” [8]. Как видим, психотерапевтический (сублимационный) эффект некоторых андреевских произведений того же порядка, что и его “дневниковый аутотренинг”.

Подобные наблюдения возможны и над поздними дневниками, значительно более зрелыми в художественном отношении — и по стилю, и по охвату жизненных впечатлений. Духовная и творческая эволюция не проходит бесследно для самого пишущего, и уже в одном из ранних дневников находим запись: “Меня радует еще одно: с каждым днем я все менее пишу и все более говорю в дневнике, т.е. перестаю гоняться за изысканным литературным изложением, которое, как я убедился, только обесцвечивает и затемняет всякую оригинальную мысль, и на бумаге передаю мысль так же, как я передал бы ее и в разговоре” [2, с. 11].

\* \* \*

Дневники Л.Н. Андреева явно имеют психотерапевтическую природу, парадоксальным образом напоминая те практики и технологии, что предлагает современная прикладная психология. Они — и способ сублимации (в широком смысле), и катарсическая терапия, и метод конструирования собственной идентичности. В подтверждение мысли о дискурсивности дневникового текста, дневники связаны с эстетическим и коммуникативным опытом автора и одновременно выявляют его писательские потенции.

Исповедальный автобиографизм некоторых этюдов Леонида Андреева, в частности его рассказа “Проклятие зверя”, генетически связанного с дневниками, — не только “терапия словом” для их автора, но и примета эпохи модерна, когда эго-документ претендует на статус явления искусства. Эстетические интенции писателя, таким образом, в контексте культуры начала XX века имеют еще одно обоснование, связанное с “концептуализацией опыта самопознания” и “исповедальным автобиографизмом” — литературными проекциями ключевой для эпохи модерна идеи становления [7].

В целом дневники Андреева можно охарактеризовать как творческую лабораторию писателя, в которой вызревают сюжеты, мотивы, образы, стилевая манера. Они есть и субститут, и субстрат андреевского творчества. Генетическая связь дневниковых записей писателя и его прозы на уровне сюжетики и стилистики — еще одно доказательство текстологически аргументированного исследования о гипертекстуаль-



ности как о значимой тенденции в организации системы андреевских “текстов” [11].

Наконец, в дневниках Леонида Андреева — а затем и в его прозе — формируется новая эстетика обращения к сфере опыта, превосходящего вербальное, ставящего в особые отношения с событием мира. И эта эстетика — непревзойденный инструмент самопознания как для автора, так и для читателя.

## Литература

1. *Андреев Л.* Дневник 1891–1892 гг. / публ. Н.П. Генераловой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 г. СПб.: Гуманитарное агентство “Академический проект”, 1994. С. 132–133.
2. *Андреев Л.* S.O.S.: Дневник (1914–1919); Письма (1917–1919); Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (1918–1919). М.: Atheneum; СПб.: Феникс, 1994.
3. *Андреев Л.Н.* Дневник. 1897–1901 гг. / подготовка текста М.В. Козьменко и Л.В. Хачатурян (при участии Л.Д. Затуловской); составл., вступ. ст. и коммент. М.В. Козьменко. М.: ИМЛИ РАН, 2009.
4. *Беляев М.* Катарсическая предыстория психоанализа // Катарсис: метаморфозы трагического сознания. СПб.: Алетейя, 2007. С. 58.
5. *Богомолов Н.А.* Дневники в русской культуре начала XX века // Русская литература первой трети XX века. Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск: Водолей, 1999. С. 204–205.
6. *Булдакова Ю.В.* Приемы игровой поэтики в структуре дневникового текста: Междунар. конф. “Маргиналии 2010: границы культуры и текста”. Каргополь, 25–26 сентября 2010 г.: Тез. докл. URL: <http://uni-persona.sgcc.msu.su/site/conf/marginalii-2010/thesis.htm> (дата обращения: 15.08.2014).
7. *Грякалова Н.Ю.* Человек модерна: Биография — рефлексия — письмо. СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. С. 3.
8. *Дэвис Р., Козьменко М.* Два неизвестных этюда Леонида Андреева // Memento vivere: Сборник памяти Л.Н. Ивановой. СПб.: Наука, 2009. С. 319.
9. *Зализняк А.* Дневник: к определению жанра // НЛО. 2010. № 106. С. 162–181.
10. *Козьменко М.В.* Дневник-роман Леонида Андреева // Андреев Л.Н. Дневник. 1897–1901 гг.
11. *Козьменко М.В.* Проблема “гипер-авантекста”. (На материале творческого наследия Л. Андреева) // Текстологический временник. Русская литература XX века: Вопросы текстологии и источниковедения. М., 2009. С. 218–225.
12. *Кутузова Д.А.* Ведение “структурированного дневника” по методу Айры Прогоффа // Мос. психотерапевт. журн. 2009. № 1. С. 126–140.
13. Максим Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка // Лит. наследство. М.: Наука, 1965. Т. 72.
14. *Михеев М.* Дневник как эго-текст (Россия, XIX–XX). М.: Водолей-Publishers, 2007.
15. *Пигров К.С.* Забота о своей духовности, или техника скриптизации индивидуальной жизни // Vita Cogitans: Альманах молодых философов. Вып. 4. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2004. С. 75–107.
16. *Радзиевская Т.В.* Некоторые наблюдения над функционально-семантическими и стилистическими особенностями дневников // Стил. Белград. 2005. № 3.
17. *Фрейд З.* Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. С. 129.
18. *Фуко М.* Забота о себе. История сексуальности. Т. 3. Киев: Дух и литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998.

Г. Боева  
Дневники  
Леонида Андреева